

селения и угрозе со стороны разбойников (с. 125). Но, может быть, этот консенсус был обусловлен и тем, что куриалы, стремясь сохранить себя и свое положение, сами пошли навстречу христианам и постарались занять в их среде достаточно высокое место. Здесь, пожалуй, уместным будет вспомнить и о той борьбе, которая велась в городе между старинной аристократией и новой военно-чиновной знатью² и которая, по всей видимости, имела свое влияние на создание союза местной аристократии с епископской властью, что достаточно ясно видно на примере Синесия Киренского.

В разделе "Чудеса и власть" рассматривается христианский образ эпохи, создававшийся выразителями упомянутого консенсуса – церковной историографией и агнографией. Здесь автор резонно замечает, что борьба между христианством и язычеством в IV в. если не выдуманна, то в сильной степени преувеличена с тем, чтобы убедить язычников в том, что была война, которая оказалась ими проиграна (с. 128). Несмотря на использованный христианами принцип умалчивания, скрупулезное изучение источников и их тщательный анализ позволили автору прийти к обоснованному выводу о том, что язычество удержалось в империи вплоть до VI в. и, следовательно, христианский образ императора и общества не давал всеобъемлющей картины позднеантичного общества; иными словами, образ и реальность не совпадали.

Вместе с тем П. Браун подмечает, что было в церковной историографии нечто важное, что объективно отражало не только политические представления, но и политическую реальность того времени. Этим важным компонентом христианской литературы был образ императора, чья преданность вере, а не пайдейя должны были принести благоденствие империи через благословение Господне; масса чудес и чудотворцев, связанных с личностью императора являлись очевидными знаками этого благословения.

В V в. к этому образу императора, показывает автор, были добавлены такие существенные черты, как его связь с христианскими подданными, его доступность, подвластность чувству милосердия, ревность в благочестии. Вера в то, заключает

П. Браун, что христиане имеют доступ к власти имущим, наносила удар политеизму более эффективно, нежели любой императорский закон или открытие храма; ощущение того, что представители церкви были в состоянии прийти в соприкосновение с носителями власти на любом ее уровне, в существенной степени способствовало тому, что средиземноморский мир медленно, но верно обращался в христианство (с. 136).

Не разделяя языческих сомнений в автократии, христианские писатели и лидеры христианства являлись горячими сторонниками и теоретиками монархии, освященной свыше – таков один из главных итогов исследования П. Брауна. Более того, как показано в монографии, христиане в лице епископов (см. раздел "Епископ и город") являлись и умелыми посредниками между автократической властью и городами: защита их, поддержание в них закона и порядка, связь с центром осуществлялись через епископов, которым удавалось порой умело склонять его на свою сторону (с. 148–152).

Притязания епископов на первенство в городе, выявлено в монографии, базировалось на новой модели общества (см. раздел "Сюнкатабасис: милость Божья и императорская власть"). Эта модель, показывает автор, игнорировала древнее деление общества на граждан и неграждан, город и деревню. Любовь к бедным, христианское сострадание являлись основой новой формы социальных связей, базирующейся на общности человеческой природы: как все равны перед Богом, так все беспомощны перед земной властью, от которой ждут милосердия. Мистические нити, подчеркивает исследователь, связывают каждого жителя империи с императором, который, несмотря на свое величие, был одной плоти с подданными (с. 155).

В заключение хотелось бы отметить, что рецензируемая книга не только значительное научное, но и прекрасное по своим литературным данным произведение. Глубина мысли, изящество формы, отношение к читателю как к искреннему другу, а к коллегам как к истинному научному братству – не в этом ли секрет успеха П. Брауна?

А. Чекалова

Harvey A. *Economic expansion in the Byzantine Empire 900–1200*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. XX, 298 p.

На первый взгляд монография А. Харвея "Экономический подъем в Византийской империи. 900–1200 гг.", в основу которой положены материалы докторской диссертации ученого, написана в полном соответствии с канонами современной западноевропейской византинистики. Прежде всего об этом свидетельствует структура исследования,

где на первый план вынесена проблема ранневизантийского периода истории империи; в главе о демографии ее анализ тесно связан с изучением социальных отношений; одно из главных мест отведено рассмотрению налогообложения и денежного обращения; очерку сельскохозяйственного производства воследуют главы об образцах присвоения и взаимосвязях города и деревни. Казалось бы, читателю достаточно заглянуть в Заключение книги, чтобы ознакомиться с ее выводами. Однако научное мировоззрение и методологические принципы исследователя побуждают к оценке подлинного значения созданного им труда. На примере моно-

² См., например: *Сюзюмов М.Я.* Политическая борьба вокруг зрелищ в Восточно-Римской империи IV в. // Уч. зап. Уральского гос. ун-та. 1952. Вып. 11. С.84–134.

графин А. Харвея мы, пожалуй, впервые сталкиваемся с безусловно тонким и научно обоснованным пониманием, проявленным западным специалистом, социально-экономической природы феодализма как характерной черты истории Византийской империи. Эта позиция ученого провозглашена им во Введении (с. 6–8) и пронизывает весь его труд. Притом кембриджский византинист не сбрасывает со счетов и теории этатизма, и концепции централизованной феодальной ренты, разработанной в советской историографии (с. 11–12).

В ряду основных положений исследования необходимо выделить признание раннесредневекового периода истории Византии переходным, когда наступает окончательный упадок позднеантичных общественных институтов и пускают корни зародыши “византийского феодализма” (с. 14). В VII–IX вв., по мнению А. Харвея, закладывается фундамент феодальных отношений, которые обнаружили себя явственно в начале IX в. (с. 29, 33). Предпосылками тому служил сохранение крупной земельной собственности, в особенности церковного землевладельца, обезземеливание крестьянства и распространение парикии. Заметную роль в развитии этих процессов на начальном этапе, как считает византинист, играло государство. Показательно, что суждениям об отсутствии прогресса в сфере сельскохозяйственного производства Византии и тенденции к натурализации, вызвавшейся в непосредственном присвоении продуктов в имениях крупных земельных собственников, сопутствует критика теории так называемого “кризиса феодализма” (с. 121). Наряду с тем А. Харвей категорически отверг правомерность приложению к материалам аграрного строя Византии теории “кризиса сельскохозяйственного капитализма”. Историк настаивает на господстве в империи феодальных отношений и укреплении экономических позиций феодальной знати (с. 161–162). Согласно его представлениям, становление феодальных производственных отношений оказалось жизненно важным для развития города – возвышения провинциальных городов и возрождения городского строя XI–XII вв. (с. 225–226, 242).

В конечном итоге весь ход мыслей А. Харвея о феодальных отношениях нацелен на переосмысление их роли в жизни византийского общества и его особенностей. Сообразно с предлагаемой концепцией, наметившийся экономический подъем способствовал росту могущества и византийского государства, и феодальных собственников. Усиление податного гнета и пожалование привилегий членам господствующего класса сопровождалось обезземеливанием и переходом крестьянства в зависимость от феодальных землевладельцев. Они обогащались за счет увеличившихся государственных доходов, и на этой основе сформировалась провинциальная аристократия, превратившаяся в X в. в угрозу для государства. В XI в. мощь феодальных собственников значительно возросла, поколебленная сила императорской власти уже не могла сдерживать центробежных тенденций внутриполитического развития страны. Они сделали

ощутимы при Комнинах, а в палеологовский период привели к возникновению системы апанажей. Феодальные производственные отношения, по утверждению А. Харвея, являлись интегральной частью экономики Византии XI–XII вв. Упадок централизованных форм управления нельзя рассматривать как результат экономической стагнации: ослабление контроля государства над феодальными землевладельцами историк объясняет – и в этом заключено рациональное зерно его концепции – укреплением их политических позиций на гребне экономического подъема. Принципиальным значением обладает также четкое обобщение: в отличие от Запада, где феодальные отношения приобрели позитивное отношение, в Византии они, будучи ущемлены централизованным государством, трансформировались к разрушительную силу. Противостояние в XI–XII вв. бюрократического аппарата и провинциальной знати завершается политическим упадком империи (с. 262–268).

Наиболее сильной стороной выдвинутой А. Харвеем концепции бесспорно является использование новейших демографических данных для анализа социально-экономических отношений как в византийской деревне, так и в городе. Ранневизантийский период, как отмечает ученый, ознаменован демографическим подъемом. Касаясь проблем VII–IX вв., византинист связывает воедино демографический кризис, сокращение площадей культивируемых земель, упадок города и торговли. Главное же внимание историк уделяет периоду X–XII вв. А. Харвей не просто берет на вооружение современную теорию демографического подъема в Византии середины XI – начала XIV в., а опирается на нее с целью углубления наших представлений о социально-экономических процессах этого времени. Скучность прямых сведений о численности населения заставляет исследователя привлекать материалы о развитии и структуре производительных сил в земледелии и землепользовании. К числу косвенных признаков демографического подъема отнесены расширение площадей культивируемых земель, измельчение крестьянских наделов, инициатива крестьян в проведении внутренней колонизации, а также расширение имений и пожалований податных льгот феодальным собственникам. И такой подход не случаен – он отражает сущность позиции ученого, который считает увеличение размеров населения исходной посылкой роста феодальной земельной собственности (с. 47–48). Вместе с тем демографический подъем рассматривается как фактор увеличения объема сельскохозяйственной продукции, плотности населения и возникновения новых населенных пунктов. С учетом названных явлений историк приходит к выводу о том, что в плодородных долинах Греции и Малой Азии вплоть до конца XII в. не возникало значительного расхождения между сельскохозяйственными ресурсами и размерами населения (с. 140). С точки зрения византиниста, демографический подъем, компенсируя территориальные и податные потери государства, заметно сказывался на усилении экономического могущества провинциальной аристократии (с. 70). В этом смысле особое значе-

ние ученый придает реформе налогообложения, проведенной Алексеем I Комнином в 1106–1109 гг. Политика сдерживания податных привилегий и повышения норм обложения населения в условиях демографического подъема обернулась для непосредственных производителей интенсификацией их эксплуатации и изъятий прибавочного продукта как государством, так и феодальным собственником (с. 102). Не остается незамеченным и влияние роста населения на подъем городской жизни в XI–XII вв.

Исследование А. Харвей несомненно обогащает византинистику многочисленными находками, которые помогают отразить особенности социально-экономической и политической истории империи. Среди важнейших следует назвать неординарное толкование известных памятников ее аграрного строя. Так, в нашей отечественной историографии появление Земледельческого закона традиционно связывается с варварской колонизацией Византии, в первую очередь славянской, и признании господства земледелия. Сопоставление Земледельческого закона с документами IX–XI вв. А. Харвей сопровождает замечанием о возникновении этого памятника в условиях сокращения сельского населения, что и объясняет явно выраженное, на взгляд историк, в содержании этого источника падение роли земледелия и возросшее значение скотоводства (с. 157). Ранее же А. Харвей показывает отличия положения упоминаемых в Земледельческом законе “георгов” от статуса позднеантичного колона.

Удачное применение сравнительно-исторического метода при изучении фискальных трактатов X–XI вв., Пирры и аграрного законодательства Македонской династии позволило ученому продемонстрировать глубокую социальную поляризацию византийского села, исчезновение независимого крестьянства и формирование землевладельческой элиты. В этой связи А. Харвей полемизирует с Н. Звороносом и Г.А. Острогорским относительно характера Фиванского кадастра и отраженных в нем распоряжков. А. Харвей полагает, что в названном документе речь может идти только о землевладении господствующего класса, а не крестьянства (с. 75–76).

Изученные материалы дали историку возможность сформулировать принципиальные положения о социально-экономическом развитии Византии. Это, во-первых, тезис о характерной для ранневизантийского периода государственной собственности на землю и ее “доступности” для представителей разных социальных групп общества. Во-вторых, византинист заявляет о внушительном превосходстве вплоть до социально-политического кризиса XI в. государственных форм присвоения продукции сельского населения, тогда как для феодальных собственников эксплуатация крестьянства служила важнейшим каналом пополнения денежных ресурсов и укрепления своих общественных позиций (с. 118–119). В отличие от других исследователей А. Харвей избегает из-за отсутствия убедительных доказательств делать прямолиней-

ное заключение о преобладании той или иной системы полеводства, предполагая существование разнообразных локальных вариантов (с. 126), и допускает реальность интенсификации сельскохозяйственного производства в поздневизантийский период.

Нарисованную ученым картину социально-экономических отношений дополняет множество существующих наблюдений над развитием города и торговли. Помимо повторяющейся мысли о тесной взаимозависимости сельскохозяйственной и городской экономики, историк раскрывает свое понимание проблем торговой экспансии в Византии итальянского купечества и положения так называемых “средних слоев” горожан. Исследователь отказывается от негативного восприятия роли итальянцев в византийской экономике, где они, по его словам, составляли лишь небольшой элемент при полном преобладании “земельного богатства” (с. 223–224). Что же касается “средних слоев”, значительную часть которых являлись торговцы и ремесленники, отмечено усиление их общественного веса в XI в. Однако в сложившейся ситуации А. Харвей склонен видеть следствие не столько экономического подъема, сколько политической конъюнктуры, предопределенной противостоянием бюрократии и феодальной аристократии (с. 204–205).

Конечно, отдельные высказывания ученого вызывают возражения и требуют критики. Скажем, освещение налогообложения сугубо эмпирично и византинисту удается показать в большой степени не принципы обложения, а основные направления налоговой политики к присущими ей податными уступками аристократии. К тому же А. Харвей, устанавливая в первую очередь соотношение денежных платежей и натурализованных повинностей, не проводит разграничения между налогообложением и рентными обязанностями крестьянства. В некотором противоречии с принятой точкой зрения находится наблюдение над вовлечением крестьянства в рыночные связи. Исследователь говорит о том, что объемы рыночной торговли ремесленными изделиями зависели от колебаний производства, а не урожая текущего года (с. 181–182). Многие экскурсы в историю поздневизантийского периода и стремление определить перспективы развития византийского общества, равно и аргументация ряда положений безо всяких уточнений, не всегда с должной критичностью почерпнуты в исследовании хронологически более поздней эпохи. Например, А. Харвей судит о ремесленных специальностях крестьян X–XII вв. по ономастике практиков XIV в. (с. 185); сведения о крестьянском жилище в Византии сопоставлены с западноевропейскими материалами XV–XVIII вв. (с. 192); численность населения византийских городов он пытается сравнить с данными о городах Западной Европы и Турции опять же таки более позднего времени (с. 198–199).

Тем не мене, представленная в монографии А. Харвея концепция социально-экономического развития Византии обладает высоким научным потенциалом. Многие коллеги ученого видят спе-ци-

фику Византии, отличающую ее от стран Западной Европы, в доминирующей роли государства. В таком ракурсе политические коллизии XI в. воспринимаются как поворотный пункт византийской истории на ее пути к экономическому упадку. На самом же деле, и это А. Харвей подчеркивает в Заключении, XI век характеризуется устойчивым подъемом экономики, которая успешно развивается и в следующие, XII столетия (с. 244). Наконец, хотелось бы отметить, что исследование А. Харвея является несомненным свидетельством непосредственной взаимосвязи науки и общественной

жизни. В то время как отечественные историки переживают пору смятения и некоторые из них спешат к иногда беспочвенной переоценке ценностей, кембриджский ученый, усвоив – и не столько буквально, сколько по духу и сути – опыт и достижения отечественной историографии последних десятилетий, сумел преодолеть шаблонные представления “западного” образца и достичь нового качественного уровня в понимании социально-экономических проблем истории Византии.

Ю.Я. Вив

Byzantine Diplomacy / Ed. by J. Shepard, S. Franklin. Hampshire-Brookfield (Vermont): Variorum, 1992. 333 p., map, ill.

Всегда отрадно появление новых византиноведческих серий. “Византийская дипломатия” стала первым томом новой в ряду публикаций “Variorum” серии Общества содействия византиноведческим исследованиям. Рецензируемая книга представляет собой издание материалов очередного, XXIV международного весеннего коллоквиума, организованного британскими византистами в Кембридже в 1990 г. и посвященного византийской дипломатии. Дж. Шепард и С. Франклин собрали под одной обложкой исследования византинистов разных стран и подчас различных научных школ, объединенных стремлением вернуться к византийской дипломатии и внешнеполитической проблематике почти через 30 лет после Охридского конгресса, на котором Д.Д. Оболенский, Д. Моравчик, Д. Закитинос и др. представляли в докладах фундаментальные, как казалось, разработки проблемы.

Именно отталкиваясь от заключений того далекого уже времени, характеризует понятие византийской дипломатии А.П. Каждан. Думая об обще-византийских принципах и методах дипломатии, необходимо, по мысли исследователя, иметь в виду и локальные их особенности, соответствующие региональной специфике их применения: византийское самосознание превосходства над “северными варварами” контрастирует с отношениями равноправного партнера (в идеальном плане) с древними восточными монархиями, государствами ислама. “Эластичность” византийской дипломатической доктрины столь же очевидна при ее анализе в диахронии: на зкате империи посольские вояжи на запад Иоанна V Палеолога в поисках союзников-защитников характеризуют принципиальный сдвиг в дипломатической стереотипике ромейской державности, отказавшейся от церемониального традиционализма, сосредоточенного на торжественных приемах иностранных посольств в столичных дворцах, в присутствии символизирующих вселенское могущество василевсов. Это относится и к династическим бракам с “варварами”, невозможными в принципе до VII в. Впрочем, в исторической ретроспективе можно выделить несколько хронологически поворотных моментов в истории, скажем, взаимоотношений Византии с Западом, характеризующих, по Т. Лунгису, переходом от сбалансирован-

ной внешнеполитической ситуации к новому дисбалансу отношений, как это случилось и в середине VIII в., и в эпоху Крестовых походов.

Однако прав А.П. Каждан, отмечая неприменимость данного принципа анализа к другим регионам, окружавшим Византию. Отграничивая понятие дипломатии от внешней политики, автор вслед за Д. Закитиносом концентрируется на технике формирования международных отношений, дополняя такие ее моменты, как дипломатическая переписка, составление документов, организация посольств, соблюдение прав послов, этикет приемов, различные формы союзов (династические браки, торговые соглашения, военные договоры, утверждение статуса иностранцев), установление границ и т.д., еще порядком приема посольств и влиянием на культурный взаимообмен.

Византийская дипломатия была по преимуществу оборонительной, как и византийский универсализм был скорее консервативным, чем экспансионистским. Целью дипломатических актов, как например, интернациональных браков, был мир: не случайно неизменные невесты, будь то Берта Зульцбах, или Иоланта де Монферан, или Адельгейда Брауншвейгская, принимали на византийской земле православное имя Ирина, т.е. “Мир”: Византия не исповедовала идеи ни Священной войны, ни “справедливых войн”.

Особое значение в проведении византийских дипломатических акций приобрели полуассальские государственные образования в пограничной лимитрофной зоне. Создание системы государств-сателлитов или феодальных княжеств в пограничье отвечало внешнеполитическим задачам византийской дипломатии. Византийская дипломатическая идеология проявлялась в применении категории “сын” (“духовный сын” – в церковном варианте) или “брат” (по отношению к теоретически равному партнеру, например Персидскому монарху) в обращениях к главам государств. Однако поздневизантийская практика обнаруживает крах экуменического универсализма византийской дипломатической доктрины: государство на проливах уже осмысляет себя в мире многочисленных равных европейских государств.

Второй раздел книги посвящен рассмотрению